

Студесский Мирисаке М
1978 г.

Прощай, всеочищающая роза,
луп золотой, таинственная суша,
мы возвращаемся к своим
занятиям,
к своим печальным судьбам
и ремеслам.

Спаси тебя великий океан
от нашей чистоплотности колючей!
Сегодня одиночество преступно,
спрячь, остров, древние свои ключи
в пещере лавовой, среди скелетов,
которые нас будут упрекать
до той поры, пока не станут
прахом,
за наше бесполезное вторжение.
Я возвращаюсь. И мое прощай —
пустое слово, и торжественность —
не в нем, а в том, что остается
здесь, —
немая безучастность в центре моря,
сто взоров камня, самоуглубленных
и обращенных к вечности воды.

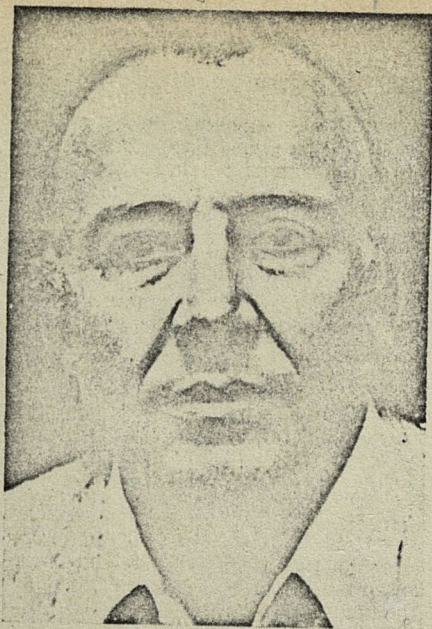
Пабло Неруда
Поэма «Одинокая роза»

Утро моего предпоследнего спектакля
«Федора» в Ленинграде. Мой довольно
большой для трех рублей номер освещен
солнцем. Окна выходят во двор.
Тихо. Хорошо. Было время поваляться
в постели, что случается крайне редко.
Сквозь задернутый занавес с подоконника
пробивался красный цвет гвоздик,
нежный дар моих друзей-ленинградцев.
И на столе цветы, и на тумбочке у кровати
тоже цветы. Мои друзья настойчиво
провожают меня после каждого спектакля
до гостиницы.

Красное размытое пятно на белом тюле.
Красиво и страшно. Знаешь, что
цветы, а выглядит, как кровь. Вдруг луч
солнца вырисовал силуэт гвоздик. Так
приятней, — это гвоздики, цветы. Вспомни-
лись дети. Как они там? Последнее
время так много работы, что почти не
вижу их. Это худо...

Общее настроение солнечного утра
исподволь подтачивалось чем-то, от чего
хотелось побыстрее уйти, не думать,
освободить себя. Хотелось снова заснуть,
чтобы предать приходу этой впол-
зающей тоски, готовой вот-вот обернуться
конкретным разлиящим горем. Что тако-
го? Даже задохнулся. Неужто лишь от
того, что непривычно валяюсь в постели?
Перевернувшись со спины на бок,
стараясь отогнать это ощущение из
давно прошедшего детства. Было ли
вообще оно, это самое детство? Нет, бы-
ло. И вроде радостное, с темными роди-
мыми пятнами тоски. И вдруг вспомни-
лось одно из них...

Дядя Вася, муж моей тетки Нади, по-
дарил мне свой велосипед. Велосипед



Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ

за угол, как я весь буквально тонул
в отсветах и бликах, лучах и сияниях,
исходящих от прислоненного к белой
стене церкви моего старого друга, кото-
рый каким-то непостижимым удивитель-
ным образом превратился в хрустально-
прозрачный, отливающий новизной и
свежестью велосипед. Это было полное
счастье. За ним следовало пробуждение.
Да... Это... там, у белой каменной стены
старой церкви, его уже никогда не будет
больше. Никогда. Гнетущее чувство по-
тери, невосполнимости теперь, по про-
шествии более сорока лет, нахлынуло
вдруг и плотно обволокло всего, как

терпкой теплой ватой. Поспешно вскочив,
стоял, недоумевая, почему это все
вдруг теперь. В Москву вчера звонил...
Филипп болен, обычная простуда, и уже
поправляется. С Машкой, славу богу, все
хорошо. Соломна хоть и была не совсем
здоровая, но бодро пеклась о детях и о
доме, и голос по телефону звучал вроде
бы радостно. Даже поблагодарила за звонок.
И несмотря на плохую слышимость,
а может быть, именно поэтому, трижды
кричала, что целует. Спектакль? Федор?
Ленинградцы, видевшие меня в музее
Достоевского... Их отношение к моему
Федору? Может быть, это? Но я уже дав-
но уговорил себя не вламываться в
дверь, что с целью заперта или наглухо
забита, как окна в брошенных домах.

Полгода назад, когда стало совсем
ясно, что спектакль не получается, ка-
ким он должен быть сегодня да уж и
не может получиться с внедрением его
в форму музыкальной сюиты, быть мо-
жет такое определение жестоко, но
каждый спектакль я именно это ощу-
щаю и стыжусь, прямо на сцене призы-
вал Бориса Ивановича признать свою
ошибку в решении, сам сознавался в сво-
ей полной творческой немощи и настаи-
вал на горьком, но честном, высоком
шаге — закрыть все это безобразие,
списать за счет творческой требова-
тельности к пьесе, теме и тем самым
не только сохранить имя доброму ста-
рому Малому театру, но подобным актом
еще и поднять его, мол, знай наших, мы
столь сильны, что отдаем себе отчет
в этой самой силе, поэтому и слабость
не скрываем. Не получилось у нас
так, как того требует время, сего-
дняшний, выросший и высокообразо-
ванный зритель, перед которым мы, ра-
зумеется, всегда в долгу. Так будем же
и впредь верны этой обязанности быть
достойными внимания такого зрителя.

Борис Иванович Равенских не ожидал
столь нагло откровенного выплеска, он
был так увлечен процессом режиссиро-
вания, что перестал замечать то, что ви-
делось с первого взгляда непосредствен-
но. Его можно было понять. Он перера-
ботал. Его было жалко. Но, впрочем, так
же, как переработал и я, и рассчитывать
на сострадания и жалость ко мне моих

Мокрый асфальт Вальпараисо

большой, хорошо смазанный и очень
легкий на ходу, хотя и старый. Дядя Ва-
ся был механик и работал на старом
базаре в Красноярске в церкви с повер-
женными крестами и с проросшими мо-
лодыми тополями на крыше. Он что-то
там варил автогенном, разбирал и смазы-
вал какие-то моторы и, судя по тому,
как был легон подаренный им велосипед,
знал в этом толк. Всем был хорош ново-
дленный друг моей улицы, кроме одно-
го: он был велик, и приходилось поль-
зоваться им, стоя на педалях, просунув
одну ногу с доброй половиной торса под
раму. Об удобствах управления этим ве-
ликаном в ту давнюю пору можно сей-
час спорить, но тогда — тогда это бы-
ла радость. Это был предмет такой за-
висти детворы, что перенести ее кто-то
уже просто не смог. И пока я выста-
ивал очередь за хлебом, его угнали. Ра-
дость убили. Детский организм как мог
боролся с нахлынувшим горем. Мне сни-
лись сны, полные ликующего счастья,
снилось, что никогда не замышлялось
это зло. И стоило мне лишь завернуть



226

зрителей я не только не мог, но и не хотел. Это было бы полным падением, провалом, позором. Я высказал все, что думаю обо всей этой затее, о себе, о режиссуре, о товарищах своих в трагическом этом походе. Борис Иванович на некоторое время онемел от неожиданности, но, впрочем, довольно быстро пришел в себя, и по лицу его было видно, что принято какое-то конкретное решение.

— Да, закроем, конечно, но закроем двадцать третьего — прогоним раз и закроем. Тогда уж совершенно будет видно, что не получилось. Без прогона нельзя будет мотивировать... Спектакль давно идет и в Киеве, и в Ленинграде уже около двадцати раз.

Успокоенности, правда, это не принесло. Но то, что сегодня вдруг встревожило меня, пришло, нахлынуло и повело с собою до дрожи, до озноба, не было спектаклем, ни игрою и ни утратой детства. Здесь жизнь, вздох и смерть, пришедшая насильно... Вот оно.

Звонок с предложением был неожиданным, а само предложение столь невероятным, что это, конечно, не могло не быть шуткою, розыгрышем. Но времени свободного для подобных занятий не было, и, не скрывая досады, но все еще спокойно ответил:

— Ну, довольно валять дурака, выдумайте что-нибудь поумнее. А то так все смешно, что видите, я хохочу, смеюсь, улыбаюсь, — все в порядке. Будем считать, что вы своего достигли. И кто вы, в конце концов?

Через зависшую минуту тишины опять тот же с худо сделанным акцентом женский голос:

— Вы так быстро много сказали, и я не поняла: можете вы лететь или нельзя?

— Могу, могу, и я могу, и вы можете, сейчас все все могут. — И бросил трубку. Надоело.

Через мгновение звонок, и тот же голос, но только радостный:

— Извините, нас разорвали. Как хорошо, что вы согласились, спасибо. Значит, я сообщаю, что вы будете прилетать. Это крайне важно. Так нужно будет заранее говорить с департаментом Сантьяго-де-Чили. Господин Славнов уже в курсе. Пожалуйста, пишите мой телефон для связи обратно... Как я рада, что вы нашли согласие. Алло, вы слушаете? Алло!

— Да, да...

— Пишите: 4-49-02-61. Гарсиа. Да, Гарсиа — это я. Делаю визу в посольстве... консул.

— Простите, сеньора Гарсиа, а почему именно меня — здесь не могло быть никакой ошибки? У меня телефон плохо работал, и я не совсем расслышал... — пустился было сочинять я, стараясь выкрутиться из нелести, начиная и вразравду волноваться.

— Да? Ах так!.. Подождите, я сейчас повторю. Теперь слышно? — продолжал после зуммера «занято» тот же неутомимый женский голос. — Отлично! Наш новый президент Альенде очень любит Шекспира. Здесь все очень просто. Фильм «Гамлет» широко известен в Чили. Он его смотрел. Его друг — некто Флер, сочувствующая Народному единству, демонстрировала долго этот ваш фильм. И он в частной беседе говорил ей, что вы прекрасный актер.

Прекрасный актер... Нет, вроде все правильно — речь обо мне, сыронизировал я про себя.

— И теперь она очень просит приехать вас, говоря, что для Альенде это будет большая радость, сюрприз.

Все это выглядело совсем неправдоподобным, но низкий голос был серьезен, прост и совсем, видимо, не понимал ни моего сомнения, ни моего настроения. Обратив все это в уже кем-то ранее, как мне казалось, навязанную мне шутку. Прямо снег на голову... Несколькими ошалело долго сообщал: что же теперь делать, принимать это как данное или... У меня был телефон Славнова Александра Александровича, ведавшего отделом внешних сношений в Госкомитете по кинематографии, и, обрадовавшись этому, я позвонил туда. Было занято.

Опять и опять набирал я номер главка, но там кто-то сел на телефон и не собиравшись, как видно, уступать его кому-то другому. Потеряв надежду дозвониться и загадав, что делаю это последний раз, я поднял трубку и без всяких звонков вдруг услышал знакомый баритон:

— Иннокентий? Слушай, мы получили из Чили запрос: сможешь ли ты прилететь на церемонию вступления Альенде на пост президента. В Чили слетаются со всех концов Земли. Из деятелей культуры они просят тебя. Нам бы очень хотелось, чтобы ты был там. Как у тебя со временем?

Ну и ну! А у Николая Васильевича Гоголя есть и такое: «...французский посланник, немецкий посланник и я...» Все оказалось значительно серьезнее, чем это представлялось полтора часами раньше.

Чуть ли не каждую неделю мы со званивались с милой сеньорой Гарсиа, оказавшейся тонким, интеллигентным человеком, влюбленным в русскую классическую музыку; о Скрябине и Мусоргском могла говорить и говорила много дольше, чем позволяло время занятого человека. Все было за то, чтобы быть там. И только внезапное обострение болезни глаз не позволило мне присутствовать на этом высоком акте народа Чили. Было грустно.

Жизнь катилась своим чередом. Спусти некоторое время я видел хронике с торжественно серьезным Альенде, опоясанным лентой президента Чили. Слышал его спокойный голос и был тихо рад, что есть далеко за морями такой народ, дерзающий и гордый, способный сказать «нет!».

Этим могло бы закончиться все то неожиданное и непривычное в моей жизни, что так щедро обнадёживало пообещав утренняя звонки из посольства Чили. Продолжение ну никак не ожидалось. Я работал и лечился. Много времени забирали дети, дом, друзья. Но в памяти все-таки удерживалось сожаление о несостоявшейся встрече с пробудившейся страной на Американском континенте. Должно быть, это потому, что, помимо радости, связанной с получением приза лучшего иностранного актера года — о чем тогда же мне сказала госпожа Гарсиа, — во мне едва ли не впервые начало теплиться и крепнуть сознание не то чтобы необходимости моих работ, но их доброго влияния на людей. А это уже само по себе немало. Если быть судьей в споре скромности с актерским эгоизмом в самом себе — как тот, так и другой не лучшие помощники актера, — то я предпочту все же последнее, как ступень, основу для голода, желания творить, искать,

рисковать и пробовать. Хотя, может быть, это и не самое достойное в поисках путей к самому себе, но в этом есть и большая беспощадность, если не самоотречение, а это уже измерения и понятия высокие и гордые.

Я уже давно заметил, что, как только идет работа валом и нет, кажется, никаких возможностей для встреч, войной и представительствования, именно в это время почему-то зарубежные фирмы проката хотят видеть меня у себя, устраивая неделю или просто премьеру советского фильма. Именно в такой момент «пик» я и оказался в Чили.

В это время в Чили шли выборы в местные органы власти. Страна бурлила, была взволнована. Стены домов, заборы, трамваи, троллейбусы, витрины частных и государственных магазинов, даже асфальт пестрели надписями: «Голосуйте за родину! Голосуйте за свободу! Голосуйте за кандидатов Народного единства!» Улицы утопали в валяющихся всюду, уже ставших мусором листовках с призывом выбрать только этих и никак не других кандидатов. Все пестрело портретами кандидатов различных направлений, партий. На одних портретах кандидаты были строги. Другие, словно их сняли неожиданно, испуганно смотрели на вас. Третьи дарили улыбки. Были портреты, которые и ничего не выражали. Они просто скучно висели, как бы говоря: мы здесь ни при чем. Я наблюдал, как группа уже немолодых людей с рулоном «своих» кандидатов заклеивала ими «противников». А через некоторое время того же примерно возраста люди, но из другой, по-видимому, партии шли и широкой кистью черной краской перечеркивали свежие портреты, а какому-то холемому лицу пририсовали огромные усы с редкой бородкой Дон-Кихота и сделали черные круглые глаза, похожие на оправу очков без стекол. Затем, отойдя в сторону, любовались сделанным и хохотали.

В посольстве нас предупредили, чтобы мы не очень-то говорили по-русски, как, впрочем, и по-английски. Я испытал неудобство односторонней связи: видеть, все слышать, хотеть и ничего не смей говорить.

Это предупреждение наших друзей не было таким «ля-ля» или «вас ждут здесь страшные провокации». Нет, отнюдь. Оно имело зримую реальную основу: всюду можно было увидеть шагающих по двое-трое военных и полицейский патруль. Машины городской полиции с яркими мигалками на крышах медленно плыли по запруженным народом улицам. В них сидели мужчины, по лицам которых без труда читалось, что заняты они далеко не праздничным делом. По всем каналам телевидения было только одно: голосуйте, голосуйте, голосуйте! Причем только что заканчивалось эмоциональное выступление одного представителя, как эта же самая программа из другой лишь студии начинала передавать не менее эмоциональное выступление представителя противоположных сил, который начинал примерно так: «Вы только что видели и слышали, сколько красивого пообещал вам сеньор такой-то. Излишне говорить, что все это демагогия, ложь, неправда. Это вы сами поняли отлично, и я не ста-

Вопрос был прост, ясен, но я был столь не подготовлен к проявлению не только заботы с его стороны о моих глазах, но просто никак не ожидал, что последует подобное, и поэтому никак не мог свести эту простую мысль к реальности. И когда наконец мне это удалось, тихо сказал:

— Да, благодарю вас, дорогой друг, благодарю, я здоров.

— Ваши многочисленные друзья в Чили были встревожены, узнав о вашем заболевании.

Маленькая, уже немолодая, остроносая женщина с красивым разрезом больших глаз стояла возле Альенде и тихо, как-то впитывающе смотрела на меня, и лишь я взглянул на нее, как она очень слегка кивнула головой в такт окончанию слов Альенде, дескать, да, так и было, да ведь вы и сами все это знаете, и продолжала молча, изучающе глядеть на вконец смущенного «премьера». Это было так ясно, что она именно это говорила, думала, что, глядя на нее, я так же, тихо наклонив голову, шептал: «Благодарю... благодарю вас». Куда увел бы этот разговор, не знаю. Но предупредительные лица администрации театра и положение их уважительно ждущих фигур просили к началу фильма.

— Увидимся позже, — бросил как-то не по возрасту молодцевато Сальвадор Альенде, отпустив мою руку, и пошел после расчищающей ему до-

рогу взволнованной администрации театра.

Нужно было спешить на сцену. Молнией пронеслась мысль — о сборе средств для малышей. Не забыть бы...

— Товарищ президент! Дамы, господа, друзья, товарищи. Я горд возможностью представить вам советский фильм о нашем великом соотечественнике Чайковском. Статистики утверждают, что каждую минуту в мире где-нибудь обязательно звучит музыка Петра Ильича. Значит, и здесь у вас, в Чили, звучание ее естественно и правомочно. И я думаю, совсем не потому, что это вывела кропотливая и объективная статистика. Это право завоевала у времени и у народов мира сама эта музыка — по великому врожденному стремлению человека тянуться к прекрасному, вечному. У нас на Родине, в Советской России, под Москвой, в небольшом городе Клину, стоит дом, где жил последние годы Чайковский. По его неуютным комнатам бродят сквозняки, экскурсанты и туристы, и становится грустно при мысли, как непроста, как нелегка была его жизнь, прошедшая за коулками одиночества и отрешения. Над домом льют дожди, шумят сосны, а на входной двери — медная табличка. Ею он отпугивал неудобных ему посетителей:

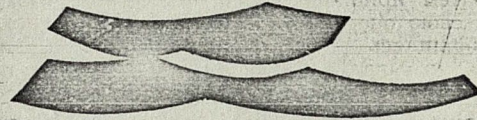
«Хозяина нет дома».

Его действительно нет дома. Он ушел. Ушел, оставив нам поистине бесценное наследство — время, в ко-

торое мы можем слушать его музыку. Более щедрого завещания не оставляют. Оно — людям, и оноечно. Не потому ли и выбран фильм «Чайковский» как начало пути по сбору средств тем маленьким чилийцам, кто все еще не имеет ни школ, ни ботинок.

Я люблю летом, после дождя, босиком бродить по мелким теплым лужам. Но однажды моя жена сказала: «Ты как ребенок, право. Будь хорошим и не промочи ноги». Как я мог промочить ноги, если я был босиком?.. Пусть в Чили идут теплые дожди, пусть по-детски босиком бегают по лужам маленькие чилийцы, пусть время и забота взрослых подарят им одну из самых больших радостей детства — обновку, пусть пойдут они в школу, сопровождаемые скрипом новых ботинок и материнским напутствием: иди, будущее Чили! Учись! Учись жить, побеждать, слушать музыку, быть всегда хорошим — и не промочи ноги. Благодарю вас.

Дотошные эмигранты, свято сохраняя все русское, а особенно слово, сокрушенно сожалели после просмотра, что перевод был не только неточным, неполным, но многие мысли, фразы упустились вовсе, вроде их никогда и не было. Очень жаль. Во время перевода я, чувствуя сокращенность его, еще подумал — какой емкий, однако ж, испанский язык. Но то была не емкость, а безответственность, неумение и зажатость Жаль. Очень жаль.



принимаемых Международной демократической федерацией женщин, в том числе в ряде региональных конференций. Наиболее важным событием в связи с Международным годом женщин МСС считает Международный конгресс женщин, который должен состояться в Берлине.

капиталовложением? — задает вопрос журнал «Жен Африк», прокомментировавший данные доклада. — За один только 1968 год всемирная иммиграция принесла странам, принимающим иммигрантов, доход около трех миллиардов долларов, тогда как общая сумма помощи не достигла и двух миллиардов».

«Помогая» (разумеется, не бесплатно) создавать в развивающихся странах систему высшего образования, развитые страны зачистают уже при этом закладывая основу для будущей эмиграции

не. Это показала перепись на проведенная в Соединенных Штатах.

Однако американский журнал Ньюс энд Уорлд рипорт считает, что, «вызывающая серьезную общественно-ти», официальная значительно занижена. Журнал ссылаясь на данные министерства здравоохранения, просвещения и социального обеспечения о том, что только среднестатистический человек из 23 миллионов «практически неграмотен». Исследования института показывают, что 18,5 миллиона человек в возрасте старше 16 лет функционально неграмотны: не все заполнить самые несложные документы.

Комиссия США по образованию лет назад объявила о начале кампании борьбы с неграмотностью с тем, чтобы ликвидировать ее. Однако есть большие сомнения, что сенатор-демократ Эдвард Кеннеди «Правительство затратило на с неграмотностью менее 40 миллионов долларов. Такое несоответствие важности задачи — ликвидации неграмотности к 1980 году — и уровень затрат правительства на ее выплатах могло бы показаться просто смехотворным, не будь оно столь трагичным».

ГВИНЕЯ-БИСАУ РЕСПУБЛИКЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ

Одной из главных задач, перед молодой республикой, освободившейся от португальского колониализма, Васко Кабрал, государственный комиссар по экономике и сам, назвал «подготовку технических специалистов». В интервью журналу «Африк-Ази» он подчеркнул, что уже «получает довольно значительную помощь, и в первую очередь от латиноамериканских стран».

Отсутствие национальных кадров является тем, что португальские заторы сознательно тормозили развитие экономики страны. «Если не считать осушек, а также нескольких кусков лесопильных, пивоваренных, мясных и сахарных предприятий, сказать, что промышленности в Бисау фактически не существовало, сказал Кабрал. Он объяснил, что на которой покоилась колониальная экономика, была в основном эксплуатация крестьянина, в частности путем обложения. Налогами облагались жилищные, праздники, свадьбы, похороны, пальмовое вино и т. д. и т. п.»

По мнению комиссара, в республике можно добывать нефть, фосфаты, ильменит, цирконий

ну на этом задерживаться. Я только хотел обратить ваше внимание на ту красивую обертку, ширму, за которой он прятал истинное лицо, интересы тех, которые его прислали говорить это. Я призываю вас голосовать за свободу, за право жить, говорить, за право быть людьми. Остались считанные часы. Никто не спасет Чили, кроме вас самих. Я предлагаю вам голосовать за вас, за ваших детей, за будущее нашей родины, за Чили!»

После ночного перелета через Атлантику и трудного первого дня в незнакомой стране мы ехали по какой-то очень широкой улице Сантьяго и тихо разговаривали. Мы шли в общем потоке машин. Было душно. День был на исходе. За уютной предупредительной заботой сотрудников нашего посольства и представителя «Совэксспортфильма», прилетевшего вместе со мной, который работал здесь долго двумя годами раньше, было бездумно и просто. В заботе этой прочувствовался не только долг, но нечто большее — сердечность, что ли, внимание и интерес к тебе, к твоей работе, и я, успокоившийся и уверенный, рассматривал проплывающие мимо кварталы захлавленной части чилийской столицы. Поэтому не сразу, может быть, заметил, как из машины, идущей несколько впереди, в соседнем с нами левом ряду, время от времени выбрасывали листовки нежно-желтого цвета, и они нервным веером разлетались в разные стороны, пара из них на некоторое время прилипла и на переднее стекло нашей машины.

— Сейчас мы узнаем, к чему они призывают нас, — сказал наш водитель, высунув из машины руку, стараясь на лету поймать порхающего в воздухе «агитатора».

Внезапно истерический визг тормозов, вой взревевшего мотора, и низкая спортивная машина ринулась перед нами наперез той, мирно выбрасывающей свои прокламации. В одно мгновение, став впереди вприпрыжку, лишая ее возможности какого-либо маневра и диктуя ей свою скорость, четыре молодых человека, находившихся в этой открытой машине, превратили пронизывающую мимо улицу в бурляще мелькающий бумажный фейерверк. Казалось, этому не будет конца. Это было нашествие, извержение. Нужно было видеть лица этих четырех.

Две машины, идущие одна за другой, выявляли два непримиримых мира, готовых, казалось, ценой жизни отстаивать свои взгляды, а может быть, и саму жизнь. Товарищ из посольства сразу понял мое состояние и успокаивающе сказал:

— Это у них довольно часто можно наблюдать. Скажут один перед другим, как петухи, а потом чуть ли не вместе идут пить вино или тянуть кока-колу.

Теперь-то я знаю, что это были враги. И теперь, когда трагедия разразилась и многих наших товарищей попросту нет в живых, я знаю, что это не прыгающие один перед другим петухи и не игра в политику, а борьба жестокая, без полумер, без компромиссов: они или мы, мы или они. И нет и быть не может в природе какого-либо другого решения. Там, в тех двух машинах, были

враги... Так же, как мне совершенно ясно видится, куда пошла та испанка с застывшей ненавистью в уставленном на меня взгляде на крупном мужеподобном лице.

Моя жена, художник по профессии, совершенно неистовый колорист по восприятию всего окружающего ее в жизни. Может быть, и на мне-то остановилась она как на одной из красок, которой не хватало в ее цветовой палитре жизни. Но это меня не печалит, скорее наоборот, как хорошо быть чем-нибудь, а краской — замечательно, это даже поэтично. Иной раз мне сдается, что когда я совершаю что-нибудь не совсем, скажем, достойное в работе или сомнительного достоинства — так, очевидно, вернее будет, — то, переживая вместе со мной мою неудачу, провал и глядя на меня, она видит не меня, а сплошную краску стыда, принявшую мои форму и контур, так же как цвет праздника и победы являю ей собою, должно быть, при удачном выступлении или серьезно сделанной работе — роли (что в последнее время реже, к сожалению, чем наоборот).

И здесь вроде бы должны начаться противоречия во всем том, что я пишу. Как же так — цвет красный, цвет стыда — и тот же красный цвет — он цвет победы. Противоречий нет и не будет. Потому как в том, так и в другом случае она расцвечивает меня в красноватых цветах, это правда, но умудряется находить в них, однако, столько тонов, нюансов, переливов и оттенков, что нельзя не позавидовать умению видеть в одном лишь цвете так много и так разное. Любит, очень любит красные тона моя жена, Соломка. Она называет их ласково праздником, радостью безмерною. Но, надо сознаться, в определении самих цветов, то есть каждого в отдельности, она не очень разнообразна. Вот ее оценки цвета. Белый цвет. О, это такая радость! Сколько чистоты, бескорыстия. Например, желтый цвет — щедрый, но на какое-то короткое время. А белый истинно добрый и бесконечен вдали до тоски и до просветления тоже. В нем можно найти ответы всех цветов, может быть, поэтому он самый беззащитный. Он мальчишеского с богатым наследством, оттого он вызывает жалость, сострадание. Он всякий, потому что воспримчивый. Это хорошо чувствовали и знали наши предки. Отсюда белый саван — цвет траура, тоски, покая, разлуки, горя. И самый радостный день в семье — дочь, сестра, невеста. Подвенечное платье, тот же белый цвет, но как он радостен, сколько он излучает, какой запас жизненной энергии, удивительной чистоты, согласия, покорности. Там и там белый цвет, и дело не в событийности и не в нас, а он разный от ощущения среды, он цвет-тепелат, берет, ощущает все вокруг и нам передает уже лишь в настроениях.

Едва ли есть что-нибудь радостнее желтого цвета. (Как видите, слова примерно те же самые.) Сколько солнца, какое тепло! Так и хочется, как и теплой печке зимой морозной, приложить ладони. Какая глубина в этом тепле! Цвет этот бесконечен, он всюду. Без него не существует ничто. Он близок белому, он брат его, его союзник...

Для жены моей весь мир движим лишь детьми, честностью, добротой и цветами. Прежде чем пригласить к столу, она мастерит из обычных продуктов натюрморт цвета. И если в хорошем настроении и когда кто-нибудь есть, она уж в который раз выдает всем известную загадку о красной смородине как открытии. И каждый раз находит в этом радость. Я люблю эти ее минуты и ее в них, потому что в это время она многое забывает, прощает.

— Что такое, угадываете? — говорит она.

— Черная?

— Нет, красная. (Здесь она немножко делает паузу.)

— А почему же белая?

— Да потому что зеленая!

В этом месте вы должны восклицать, бить в ладоши и говорить: да, цвета — это такая радость! И вас вкусно нормат.

И вот этот домашний колорист просит привезти бусы аборигена, если будет финансовая возможность. Бусы, разумеется, должны быть крупными и круглыми. Бывают, правда, и другие, но круглые лучше выглядят цвет. Поэтому, как она смотрела, цвет должен был быть вроде красный, но для точ-

ности, для того, чтобы потом не было никаких «ну что же ты, право, никогда ничего попросить нельзя», я решил уточнить:

— А цвета какого, красного, что ли? — Разумеется! — и опустила глаза, должно быть, для того, чтобы ошутнее представить себе красоту этих красных бус.

Это был ее единственный заказ, и мне хотелось его выполнить.

В одном из частных, богатых, судя по витрине, магазинов, проходя мимо, я усмотрел нечто подобное. Но цвет был иной — салатный. Я запомнил этот магазин и назавтра, еще до программы, уже был там.

— Были красного цвета, но сейчас, к сожалению, нет, — следовал любезный ответ смуглой продавщицы. — Попытайтесь узнать в основном нашем магазине — это лишь часть, филиал, а фирма — через две улицы, здесь не так далеко. — И назвала мне фирму.

Я без труда нашел основной магазин фирмы — уж лучше бы я его не находил.

Высокая стройная испанка с крупными чертами лица столь же любезно выразила сожаление, что не может доставить радость покупкой красных бус — их нет, есть желтого цвета, еще какие-то цвета, но красных, к сожалению, нет.

— Да, это действительно жаль, — видя, что меня понимают, упражнялся я в английском языке.

И вдруг, как показалось мне, она насторожилась, секунду посмотрела на меня и спросила с той степенью интереса, которую я должен был бы почувствовать, разгадать сразу же, здесь, стоя перед ней, но столь открытой враждебности я никак не мог предполагать в только что любезном человеке, и ответил искренностью и правдой, хотя, разумеется, должен был вспомнить предупреждения наших товарищей из посольства и затаиться, как говорит моя дочь Машка, и, уж во всяком случае, уйти от разговора:

— Простите, откуда сеньор?

— Из Советского Союза, — скромно и добро ответил я.

Ее массивный подбородок сделался еще большим, от красивых глаз не осталось ничего, кроме цвета, да и тот стал некультивированно диким, глаза застала пелена, они не зло, а враждебно пусто смотрели на меня из глубины. Так мог смотреть мертвец на своего убийцу. Она не сделала никаких движений, но именно эта ее неподвижность выдавала ее напряжение и силу неприимости ее, вражды и ненависти. Я еще совсем не понимал, что, собственно, происходит, лишь недоумевал, видя столь разящую перемену в человеке. Какой-то страшный смысл таился в ее ответе, который она не старалась скрыть, и если не говорила во всеуслышание, то только потому, что считала, должно быть, достаточным взгляда, холодного тона:

— Скоро будет все красным, много красного, и бусы будут... Обязательно будут бусы, их будет много. Тогда придите, мы и вам дадим много красных бус.

— А когда, простите? — извинялся я, видя, что чем-то ее огорчил вроде, но все еще не понимая, чем же.

— Скоро... — Улыбка пробежала по ее лицу.

— Как «скоро»?

Она не ответила. Мне могло показаться, что она превратилась в соляной столб, в манекен из музея восковых фигур мадам Тюссо, что в Лондоне, если б ее не позвал другой покупатель, и она, не оставляя ни тени того, что только что было ее стабильным, мило улыбаясь, отвечала покупателю, ни разу не взглянув в мою сторону, словно она не только никогда не говорила со мною, но и никогда никакого меня не существовало в природе вообще! Было страшно. Не помню, мне кажется, уходя, я пятился. Ощущение совсем не из приятных. Когда на фронте попадал в окружение, как-то немного лихорадочно тошнило и вроде бы под ложечкой сосало неприятно. Вот что-то подобное пережил и тут, во всяком случае, скорее уйти хотелось.

Никому не сказав об этом, весь день возвращался мыслью к тому окаменевшему бронзовому лицу. Страшный злобный смысл его ответа постепенно зрел и становился столь очевидным, что я не мог спать и позвонил своему товарищу, с которым вместе прилетел, и поделился этим страшным открытием. Это был поздний час, и он давно спал. «Да-да, да... Знаешь, давай все завтра. Встретимся и решим тогда. Наверно, показалось».

Для меня же не было никаких сомнений — должно произойти что-то страшное и непоправимое: взгляд и ответ той женщины открыто кричали об этом. За программой мне не удалось сразу же побывать в нашем посольстве. Я поделился своей догадкой с нашими журналистами, аккредитованными в Сантьяго. Они были настроены реально и трезво и не нашли поэтому в моем подозрении чего-то необычного и нового.

— Да, это мелкая буржуазия, если только затронут ее интересы, будет резня, не остановятся ни перед чем. Для них холодильники, дверные ручки, ковры и ванны дороже всего на свете. Будут резать.

— Может быть, сказать об этом послу?...

После того как они отсмеялись, а смеялись они и долго и основательно, один из них «подбодрил» меня, сказав:

— Он встречается с этим чуть ли не каждый день, а может быть, даже еще и с худшим.

Сложная, непростая жизнь Чили продолжалась. Наша работа шла своим чередом. Выборы в Чили кончились. И стало много спокойнее. Мы — Ани, милая девушка-испанка, когда-то учившаяся в нашем ГИТИСе, добровольно предложившая свои услуги переводчицы в нашей маленькой поездке, сеньора Флер, президент фирмы, прокатывающая наши фильмы, и я — уехали через всю страну, пересекая ее, правда, лишь поперек — страна Чили очень длинная страна, словно кто-то долго тянул и вытянул ее по побережью Тихого океана, но очень узко вытянул, так что в глубь материка она не так уж и обширна. Проехав длинный и оттого плохо проветриваемый, в котором трудно было дышать, тоннель, через несколько часов

уже мы оказались на берегу Великого океана в Вальпараисо, что вроде бы означает «виноградник в раю», или «райский виноградник», в общем, что-то в этом роде. Мы были там всего лишь двое суток, и я мог что-нибудь и перепутать уже и потому, что те два дня были довольно жестко упрограммированы.

В каком-то маленьком кинотеатре, вмещавшем 500—600 человек, не более, показывали моего «Гамлета». Кругом было пусто, вернее, пустынно и совсем почему-то безлюдно. Не верилось, что где-то могут люди сидеть и смотреть фильм, что вообще может собратиться какое-то количество желающих посмотреть этот фильм, а затем и разговаривать о нем, о Советском Союзе, о Шекспире, Чехове и о нас, советских людях. В этом мнении я укрепился после того, как представитель кинокругов Вальпараисо с гордостью указал на афишку, написанную от руки, правда, печатными буквами, что после просмотра фильма состоится встреча и беседа с исполнителем роли Гамлета советским актером Иннокентием Смоктуновским. Формат афишки был небольшой, прямо скажем — совсем неброский, маленький формат. И этот листок сиротливо висел на стене около закрытых касс. Мы прошли какими-то коридорами, пропахшими сигаретным дымом, где лениво стояли какие-то обросшие юноши, которые не обратили на нас ну просто никакого внимания. Я подумал еще, какая, однако, завидная сосредоточенность на самом себе, а может быть, то были какие-нибудь йоги. В конце этих коридоров нам сделали знак пальцем — тише, мол, и мы вошли в зал. Было совсем темно. Гамлета выносили из стен Эльсинора. Мощно и торжественно звучала музыка Шостаковича. Мы адаптировались в темноте и с удивлением обнаружили переполненный людью зал. Многие стояли у стен, так же как и мы. Такого форума ну просто никак не ожидали. Представитель местного кино клуба, очевидно человек не без юмора, сделал лицо: «А что я вам говорил? Реклама великое дело!»

Затем была прекрасная трехчасовая беседа. Было просто и здорово. Зал после небольшого моего вступления принял форму общения, живого диалога. Тут было серьезно и смешно, задумчиво и просто, весело и во всем человечески. Три часа жизни были подарены им, они подарили их нам. Эти три часа пролетели как вздох. Но и этого еще не хватило, и славной оравой, человек в сорок, прошумели почему-то до порта, где сеньора Флер вдруг объявила всем, что мне нужно побыть наедине, хотя я ее об этом и не просил. В окружении было хорошо. Но я был признателен Флер — ритм и разнообразность этого доброго вечера не могли пройти без напряжения, и оно вдруг сразу же сказало. Почувствовалась и близость океана. Скорее всего и то и другое вместе. Меня облачили в теплое, народного изготовления пончо, в котором ну просто невозможно было выглядеть незлегантно, и через короткое время с усталостью и легким ознобом, в всякими другими интеллигентскими, видите ли, штучками было покончено раз и навсегда. Для полного же

и абсолютного искоренения всех этих изъятий и гнилости мы забрели в ночное кафе. Там было шумно,людно, но зато очень грязно. И не солоно хлебавши мы ушли в ночь. Неожиданным и оттого крайне радостным оказалось, что рядышком нас ожидала машина. Как она оказалась в этом месте — просто непонятно, так как, помню, плутая по порту — я был заводилой — без руля и ветрил, шел куда хотел. Счастливая случайность, должно быть.

Сев в машину и проехав по городу два-три километра, мы остановились и, как показалось, кого-то искали или ждали. Но не дождавшись, мы быстро стали плутать и петлять, поднимаясь в гору по уснувшему городу. И вскоре приехали к тому безлюдному дому, где утром встретила нас женщина с ключами и тихим изучающим взглядом. Тогда я отнес это к национальной черте: ох уж эти испанцы — взгляды, ключи, и должны быть интриги. И теперь, выходя из машины, я вдруг вспомнил об этом. Той женщины с ключами не было. Вокруг полная темнота. Наша машина шла последние два-три квартала без освещения. Шофер Флер и Ани говорили вполголоса. Было занято, но расспрашивать показало невозможным. Уж очень все походило на разговор. Теперь Флер шла вперед, за нею я и Ани — за мною. Я обратил внимание — дверь не захлопнула, судя по звуку. Машину же, или отгоняли в другое место, или разворачивали, скорее всего последнее. Я был убежден, что не включат свет, и чуть не вскрикнул от неожиданности, когда он вспыхнул и осветил узкую лестницу и поднимающийся по ней силуэт Флера. Значит, просто тактичные люди, не хотят шума, кто-то спит, должно быть, в доме.

Значит, так, подытожил я, стоя в каком-то коридоре на втором этаже опять в темноте. Взгляды были. Машина без фар. Говорят шепотом. Ключи есть. По всему выходило, должны быть интриги, тайны а то какие же это испанцы? Впереди позвали, а спину подтолкнули. По нежности прикосновения — Ани. Пошел вперед. Где-то за углом что-то было освещено — уже легче. И немножечко смешно, но совсем немного, самую малость, как если бы только до фразы: «Смехота, да и только». Форточкой в ночи оказался кухня. Флер не было. Вскоре пришел шофер, и мы с ним вместе в ванной мыли руки. Он делал это очень сосредоточенно, как если бы думал о чем-то страшно важном. Он по-английски не говорил совсем, и мы молчали. Говорить же на эсперанто, показывать друг другу что-то руками не очень хотелось: было поздно, да и устали. Собрались все на кухне. Женщины уже переоделись, но были такими же несвежими, как и мы. Но настойчиво послали переодеваться и меня. Ани спросила, найду ли я комнату, в которой оставил вещи и передохнул днем, и добавила: «Пожалуйста, не зажигайте света, если можете найти в темноте».

«Значит, я не ошибался, здесь что-то такое есть. Испанцы верны традиции, себе», — подумал я. Ани же сказал, в надежде что-нибудь выяснить:

— Но здесь же он горит?

— Здесь окон нет, — просто сказала она.

Действительно, окон не было. И я вспомнил, что и на лестнице их нигде не было видно. В комнате был полный ералаш. (Я не очень убежден, существует ли вообще это слово, и если существует, не знаю, наверное, что же оно означает, но то, что я застал там, очень точно передает набор этих глупых звуков — «ералаш».) Вот говорят: потоп, потоп, Ноев ковчег, все всё бросают, все бегут. Когда это было? Давно! А здесь вот, рядом, передо мной — и то же самое. Не случайно вспомнились сразу два совершенно разных по сути художника. Помните Брюллова, «Последний день Помпеи»? Ну, правда, это не потоп, но тоже все бегут. Собираюсь на встречу, я искал нужное, разбрасывая вещи по комнате, с тем чтобы они саморазлагивались. Вафля у Чехова, глядя на этаное, говаривал: «Картина, достойная кисти Айвазовского». Он был прав. В этот вечер в комнате этой не хватало лишь Айвазовского, его кисти и немножечко света.

Несмотря на поздний час, ужинали долго, почти молча — впечатления утомляют. Остановила на себе внимание наполненность холодильника: если дом пустует, зачем столько есть? Для нас? Тогда кто это сделал? И, как бы услышав эти мои вопросы, хоть я их и не высказывал, Флер вдруг все разрешила, попросив меня подписать завтра мою фотографию и оставить хозяйке дома, другу ее детства и в настоящем жене Генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, который в этот момент находился как раз в Москве. Она пояснила так же, что очень боялась за сегодняшнюю встречу, так как положение в стране неспокойное, что могло всякое случиться и что, славу богу, пронесло. И что именно поэтому, из-за соображений безопасности, мы и не остановились в гостинице, а здесь, в доме у ее друзей, и, мило улыбаясь, добавила: «Надеюсь, и ваших», — чтобы местопребывание гостя из Советского Союза было неизвестно. Сразу вдруг вспомнились застывшие глаза той мужеподобной испанки из магазина бижутерии. И стало несколько тоскливо при мысли, с какой легкостью и беспечностью проводил я встречу в кинотеатре, хотя что я мог бы сделать или предпринять заранее — ума не приложу. Наверное, таращил бы глаза и делал бы вид, что все хорошо, и я совершенно спокоен. Должно быть, мудрая эта самая Флер, если все это сказала мне после встречи, а не до. Иначе и настроение у меня было бы иным, если оно вообще бы было. Еще Флер добавила, что на встрече были два самых реакционных корреспондента, причем один из них был не местный, а из Сантьяго. Это тот самый, который задал вопрос о том, кого имел в виду постановщик в том месте фильма, когда Гамлет говорит: «Но играть на мне нельзя». Я помнил его хорошо. Он сидел справа в третьем ряду. Он единственный вставал (нет, еще какая-то женщина тоже вставала), когда задавал вопросы, и был в высшей степени предупредителен. Когда он поднимался в первый раз, я попытался со сцены усадить его обратно — отдохайте, мол, сидите. На что он очень серьезно, как о чем-то важном, сказал, глядя куда-то поверх меня: «Может быть, вы позволите мне поступать, как мне удобно?» И через паузу, в которую он набрал полную тишину, не торопясь задал вот этот вопрос о Гамлете. Переводчица Ани, глядя на него, тихо и быстро прошептала, так, чтобы слышал только я один: «Разве вы не видите, что он хочет показать, как он строен, как он сложен?»

Невероятно, но он понял смысл ее шепота и, переждав мгновение, посмотрел на меня, как бы говоря: «Я переживу и эту бестактность. Мне это легко, я выше этого». Он был действительно высок и строен так, что это не могло не обращать внимания на себя. Но все портило лицо: нижняя часть лица, в ней угадывалась развращенность, и очень узкий подбородок никак не сочетался с красивым и крутым лбом, тонкие губы были неприятно и чрезмерно подвижны, несмотря на его достойную манеру говорить. Глаза, впрочем, были глубокими и спокойными, он это знал и орудовал

больше ими. Глаза эти были просто говорящими глазами. Я о нем пишу подробно потому, что именно он станет моим оппонентом, судя по всему, что рассказывала о нем Флер, на предстоящей уже сегодня вечером пресс-конференции. Не скрою, это меня насторожило. Как бы там ни иронизировала Ани по его адресу, в нем чувствовалась сила, ум, он владел собой — это бесспорно, он был личностью, несомненно. Не ожидал от себя подобной прыти, но всю эту ночь хорошо спал. И утром был готов «ринувшись в бой», если того потребуют обстоятельства.

Совсем по-другому я осматривал свою комнату утром. Это была детская спальня. Игрушки в углу и детские рисунки на стене. Они позволяли легко предположить воинственный характер мальчика. Ракеты и танки с красными звездами. Танки и пушки, видимо, стреляли, судя по снопу красных рваных черточек из их стволов. Я много раз видел такое на выставке детского рисунка у себя на Родине. И здесь то же. Между шкафом и стеной в углу стоял огромный прекрасный лук. Тетива звенела. Но стрел не было. Не знаю, куда бы я из него стрелял, но, не видя стрел, я огорчился.

До пресс-конференции было далеко по времени. И мы с Ани поехали в чрево Сантьяго и многих других городов Чили, включая, естественно, и Вальпараисо. Это огромный по размерам прибрежный район Вальпараисо — порт, куда рыбаки свозят свой улов, с тем чтобы здесь продать его или сдать в артель и выйти в океан за новым уловом. Чтобы проехать в сам порт, нужно пересечь, несколько раз меняя направление, большой поселок рыбаков. Здесь поселились нищета и ее спутники: грязь, нечистоты, разруха, запустение. Было несколько неловко за свой выуженный, отвисевшийся за ночь костюм и начищенные ботинки. Над поселком нависло нескончаемое нервное тремоло звуков. И как только показались собственно порт с причалами и океан, сразу стало ясно, что это крики многих и многих тысяч чаек, которые огромной сменяющейся волной взмывали над небольшими судами.

Ани указала пальцем на точно такие же суда у другого мола, над которыми не было никаких птиц.

— Как ты думаешь, почему это?

Я не знал, что ответить, но суда, на которые она указала, легко колыхались на волне.

— На тех, должно быть, нет уже рыбы, что ли?

— Да, уже все продали, и с них ничего не возьмешь, чайки это знают, они очень умные. А эти, — продолжала она, — полны и сейчас, кажется, будут готовить к отправке в Сантьяго. Вон везут ящики. Подойдем поближе, это интересно: сейчас ты увидишь, как это происходит! — кричала она мне, стоя рядом.

Океан и чайки своим валом, толщею звуков буквально прибывали, пресекали все попытки какого-либо другого проявления звуковой жизни. Стало как-то нервно, словно на тебя надели большую-большую кастрюлю

и колотили по ней палками. Хотелось крикнуть: «Прекратите! Я ничего не слышу!» — и если не кричалось, то потому только, что этого никто бы не расслышал. Ани быстро шла впереди, оборачивалась, манила меня рукой — дескать, не отставай. На расстоянии трех-четырех метров это был единственный способ общения. Ускоряя шаг, я побежал, неосознанно стараясь вырваться из плена этого воя, лязга, крика. Это были последние секунды, когда я еще слышал это неистовство и еще мог найти в себе силы и право кричать заблудившимся ребенком в кратере извергающегося вулкана.

Все отошло вдруг, перестало быть, затихло. Стало невыносимо пусто, и лишь рой чаек огромной тенью замедленно ворочался в этой провалившейся в омут воя тишине, то затемняя все кругом, то выворачиваясь вдруг изнеможенным продохом рваного света. Не хотелось ничего. Только уйти бы, и больше ничего — уйти.

Мальчики сидели неровной копошащейся кучкой. Их было немного... Кому было лет десять, самое большое — двенадцать-четырнадцать, но были и восьми-девятилетние, должно быть, не больше семи-восьми человек их было. Сидя на корточках, они время от времени точили свои ножи о гранит бортика причала и затем, орудуя этим ножом, вспарывали серебристую опухоль рыбьих животов — потрошили их и легко, как заправский парикмахер удаляет неудобный ему вдруг откуда-то взявшийся торчащий волосок, отрезали последнюю спайку кишков, выбрасывая их в воду. Мальчики были грязные, они работали, наклонившись, и первое, что виделось, — их шеи и плечи. Все было босиком, с раздетыми соленой водой цыпками. Одежды были все просто в рвань. И создавалось впечатление, что штаны их, рубашки, майки никогда не были новыми вообще. Во всех мальчиках мало что оставалось детского, может быть, только рост. Это были маленькие молоденькие мужички с хорошо развитыми, недетскими плечами. Плечи были совсем недетские, и этим они привлекали глаз и, как ни странно, вызывали сожаление, в своей развитости они были едва ли не уродливы. Их мало занимало, что на них смотрят, они, должно быть, не могли быть попрошайками, как в других портовых городах или как мальчики около египетских пирамид в Каире или в Дакаре, где от них едва ли не буквально приходилось отбиваться, а уж удирать-то совершенно точно и потом стараться миновать улицы эти, да и во многих других местах. Нет, эти иные, совсем, совсем иные; они умеют лишь на лету схватить выброшенную с борта рыбу, вспороть ей живот, выбросить потроха в портовую муть океана и, положив вычищенную рыбу в ящик, лязгнув лезвием ножа по бортику гранита, ничего никому не сказав, не улынувшись ни друг другу, ни жизни, ни ораве чаек — их братьям, присесть на холод портового асфальта и вспарывать, вспарывать рыбы животов.

Рядом с ними не совсем трезвая, как показалось, женщина готовила

место для подобной же операции с рыбой из другого судна, и струей воды из легкого шланга смывала грязь и мусор мостовой. Грязные брызги нагло били мальчуганам в лицо. Было совсем не жарко, но, должно быть, это было повседневной нормой их жизни, и поэтому никто из них этого не замечал. Так же как никто не замечал маленькой худой женщины, которая, тоскливо погрузившись в свои мысли, как-то безвольно провожала взглядом струю воды.

Если все это кругом чрево Чили, то кто же эти маленькие старички и худое, без времени поникшее и опустившееся создание? Они помогают пищеварению Чили. Они копошатся здесь для того, чтобы где-то там вкусно ели. Они у порога здоровья Чили, они его творцы. Два года власти Народного единства — огромный срок, но он оказался недостаточным для преобразования экономики страны. Не успели еще, не смогли. Босые обветренные ноги мальчишек, разведенные соленой водой, их труд тому достаточное доказательство. Еще долго, наверное, преследовал нашу машину шквал шума из порта и нас, тихо сидящих в ней. Но он все-таки кончился, наверное, когда-нибудь, я не помню этого. Но до сих пор помню тех мальчишек — тех маленьких рабочих. Знают ли, изведали ли они хоть когда-нибудь, хоть раз, что у них сейчас золотая пора жизни — детство? Не прошла ли она мимо них, не проходит ли она и сейчас мимо, совсем? И играют ли они в какие-нибудь детские игры, стреляют ли из луков или на долю их выпало лишь точить о гранит ножи? Кто их родители и вообще есть ли они у них? Стало грустно-грустно при мысли, что матерью одного или двух этих сынов порта могла быть та худая женщина с лицом спившегося и безвольного мужчины. Читают ли они, умеют ли вообще они читать? На все эти вопросы ответов не было — их не могло быть. И поэтому всю дорогу обратно, к тому дому на горе, ехали без единого слова. Ани сидела рядом с шофером передо мной, и это было очень удобно. Я сделал вид, что сплю, забившись в угол машины, и она не видела моих слез.

О пресс-конференции забылось напроочь. Какое значение имеет, что кто-то что-то спросит, а потом, не поняв или не расслышав перевода, а скорее всего, сознательно, напишет все наоборот, — никакого.

Может быть, поэтому пресс-конференция прошла вяло, скучно, неинтересно. Если такая, то уж лучше никакой. Тот предполагаемый мною оппонент сидел в первом ряду стульев, забросив ногу на ногу, и маленькими глотками пил горячий кофе, и уже под конец пресс-конференции он, видимо, хотел узнать причину перемены во мне со вчерашнего вечера и, не вставая, как это делал вчера, спросил:

— Хорошо ли вы себя чувствуете? Как вас обслуживают в гостинице, где вы остановились?

Мне было не только все равно, но было противно. Я ощутил полную несостоятельность, ненужность всего происходящего и отвечал

едва ли не на все вопросы коротко, односложно и не испытывал неловкости при этом.

— Да, прекрасно.

Одна девушка — я видел, как ее «агитировали» на это, полагая, должно быть, что так будет удобнее, — спросила:

— Многие из присутствующих были вчера на встрече после вашего «Гамлета» и находят, что вы были совершенно иным. Не могли бы вы, если сочтете нужным, разумеется, ответить: почему такая разительная перемена за столь короткий срок?

И она осталась стоять на ногах с непредвзвешенным легким наклоном вперед, прикусив немного край нижней губы, этим самым как бы говоря: если скажете «нет», я пойму это и тут же сяду.

Ход был рассчитан точно, хоть и создавался наспех и обща. Журналисты — это, наверное, еще и психологи, если бы не было другого, и более остро, и более точного определения этому разряду людей. По-мню, она располагала к себе и манерой говорить, и тактом, с которым она это делала, — не хотелось ей врать. Но первое, что пришло к ответу, это — «Тот, вчерашний, остался в порту на мокром цементе вместе с босоногими мальчишками». Но этого нельзя было говорить, это их беда, беда хозяев, их боль, и своим уставом я не смог бы выстроить клинику для исцеления ее — я соврал.

— Я актер и точно, надеюсь, чувствую настрой аудитории. Вчера она была праздничной, и мне не хотелось ее менять.

Она почувствовала мою ложь и, естественно, была не удовлетворена тем, что я не был искренним, тем более что вопрос ее предполагал и разрешал просто молчание. И как бы показывая, каким должен был бы быть мой ответ, она, уже сидя, холодно спросила:

— Вы, наверное, не поняли меня или неточно перевели. Хотелось бы узнать о сегодняшнем вашем «я». Я уточню: если это так, как вы только что сказали, не значит ли это, что многое из того, что вчера говорили вы, было неправдой, лишь подстройкой к залу — выходом из положения?

Мой предполагаемый оппонент с улыбкой обернулся на нее, как бы извиняясь за то, что до сих пор держал ее за дурачку, а она — смотри-те-ка... И тут же, но уже без всякой улыбки, вернулся взглядом ко мне.

— Боюсь, как бы это не выглядело хвастовством, но найти общий язык с залом, почувствовать его дыхание — одно это уже немалое искусство. Отвечая же так, как я сказал, я не имел в виду сути вчерашних вопросов и ответов, а лишь их тон, общее настроение...

И здесь была тишина, которая странным образом сроднилась с тем беснующимся хаотическим ревом в порту...

Не дождавшись конца пресс-конференции, та девушка поднялась, лишь мельком взглянула на меня, повесила до сих пор лежавший на полу фотоаппарат через плечо и, не прощаясь, не извиняясь, ушла. Если это и была демонстрация, то нужно отдать ей должное — она была достойной и в чем-то справедливой. Атлет прово-

дил ее взглядом и прямо воззрился на меня. Его глаза говорили — и это наделали вы! Лгать нехорошо, тем более женщине...

Я был смущен, но скрыл, стараясь скрыть это за безразличием. Кто-то в голос хохотнул, наблюдая эту немую дуэль, и я понял, что меня разоблачили и в этом, но не шел на пятную, не хотелось предавать ни мальчишек, ни своего детства, которое вдруг стало близким, и я упорно молчал — мальчишки не давали говорить, они тянули к себе, на тот мокрый гранит в порту Вальпараисо.

Была скучной дорога обратно в Сантьяго. Там ждали сюрпризы: судя по всему происходившему вокруг, они должны были последовать, но что они будут столь великолепны, было трудно даже предположить.

В один из первых дней пребывания в Чили сразу же после просмотра «Чайковского» журналистами была устроена пресс-конференция. Журналистов было человек тридцать-сорок. Переводчик запаздывал, и, ожидая его, мы мирно болтали, шутили. Какая-то женщина сказала о том, что большая радость ждать, а потом видеть мою какую-нибудь новую работу, и представила мне трех-четыре человека, которые в конкурсе прессы на лучшего иностранного актера года назвали меня в «Гамлете». Те дружно и мило кивали головами. «И вот теперь «Чайковский», — продолжала она, — скажите, вы, должно быть, очень любите свою профессию?» У меня от радости в зобу дыхание сперло, и на приветливы лицицины слова... я, как та ворона, начал что-то такое объяснять, что да, люблю, но вместе с тем и ненавижу, так как укажите мне вторую такую же специальность, профессию, где человек сам, по доброй своей воле, стал бы себя возбуждать, накачивать — это же ненормально, соглашайтесь. Не случайно, продолжал я, одно из первых мест по душевным заболеваниям, то есть сумасшествию, из всех профессий мира держат, увы, актеры.

Хоть я и худо владею английским, но то, что я прочел по этому поводу у одного из тогда присутствовавших, но думаю, что не улыбающихся, на той пресс-конференции журналистов, я не мог бы сказать никогда. Этот негодяй обо мне написал: «Он ненавидит работать вообще. Она, работа, его не возбуждает», и что Советский Союз занял первое место по подобным людям, и что ООН даже уж и не знает, что теперь делать.

Как хорошо, что тогда я был не один, а вместе со мной тоже отвечал на вопросы сотрудник из «Совэкспортфильма», который все это и перевел, хохоча, с испанского, когда вернулся в Сантьяго из Вальпараисо. Мне, как вы понимаете, было смешно. Он сказал, что это мы еще отделились легким испугом.

О том, что Аленде будет на премьере «Чайковского», мы узнали всего лишь за два-три часа до сеанса. Были предположения, разговоры, но конкретного — ничего. Флер смотрела своими огромными, немигающими глазами и была спокойна, невозмутима как при: нет, он не будет, — так и при: он будет обязательно. Ее глаза были столь огромными, что,

видя их впервые, все время порывался спросить владелицу их: «А что, собственно, удивительного я говорю?» Я позавидовал ее умению владеть собой, а скорее всего быть собой, так как накануне премьеры за столом в ее уютном доме она тихо сказала мне, что звонила Ортенсиа, жена Сальвадора Альенде, и они выделили время для встречи с великим русским композитором. И когда при нас разразился этот спор, мне, не владеющему испанским, было на что посмотреть, как в добром старом немом кинематографе. Я люблю в людях простоту, искренность, но здесь я не мог не восхищаться удивительным погружением в тайну, закрытость известного. Она также сообщила, что фильмом «Чайковский» начнется большая кампания по всей стране по сбору средств для обуви не имеющих ее подросткам. «Ни одного ребенка Чили без ботинок», — сказала она тихо, но в этой тишине был очень добрый, очень милый лозунг. Она долго смотрела на меня, понял ли я ее; я на нее смотрел, долго не отвечая, потому что мне было очень симпатично слышать, как замечательно произносится без какого-то ни было пафоса лозунг: «Ни одного ребенка Чили без ботинок». «Было бы неплохо, — продолжала она, — приветствуя Альенде со сцены, отметить это обстоятельство, потому что в зале будет весь дипломатический корпус и пресса столицы и чтобы начало это было подхвачено всеми присутствующими». Я ей обещал это. Затем пришла переводчица и стала, в свою очередь, настаивать, чтобы я, обращаясь к Альенде, непременно бы называл его не иначе как «товарищ президент». Но вся же страна кишит сенсорами, господами, сэрами и кабарьерами.

— Не будет ли это выглядеть нескромно, таким панибратством?

— Нет-нет, он настаивает, чтобы все его единомышленники обратились к нему и между собой как товарищи.

Флер, смотря на меня, несколько прикрыла глаза свои: дескать, хоть это и большой человек, но, пожалуй, беды большой не будет, и, затем, открыв их, немо закончила мысль: да, так будет, пожалуй, лучше. Переводчица, чилийка, знавшая русский много хуже, чем Ани, была взволнована и все время просила сказать ей, что же я буду говорить, чтобы она примерно знала, что и как ей переводить. Желание такого рода подготовленности настораживало и злило. Я и сам еще толком не знал, как и что буду говорить. Все должна была продиктовать та минута — выхода на сцену. Единственное, что хотелось сейчас, — это быть спокойным и простым. И, скрывая досаду, я сказал:

— Как что? То, что скажу, и будешь переводить.

Ее растерянность и нерв были явными. Это не могло подбодрить меня. Сказать же об этом было неловко, и все пошло не так, как хотелось, как требовала эта редкая минута встречи с человеком, таким близким нам по взглядам, по устремлениям, сумевшим своим умом, талантом, обаянием и человечностью убедить не только страну, но и весь мир в правильности выбора пути и цели Чили.

И вот мы все в огромном уютном фойе кинотеатра в центре чилийской столицы. Много наших, — советских, с которыми уже встречались ранее. Есть просто русские эмигранты — их всегда узнаешь по взглядам, устремленным в нашу сторону с такой жаждой, с таким восторгом, что это могли быть только они. И здесь я не ошибся — это были они, потому как они не замедлили подойти и долго трепетно трясли наши руки, стараясь во что бы то ни стало завязать разговор. Люди были интеллигентные, простые, милые. Я заметил, что русские всюду доброжелательны к нам. Им, должно быть, импонирует внимание местного населения к русской культуре и к нашим фильмам в частности. И они не без гордости, несколько наивно, озирались кругом, как бы говоря: да, это мы, знай наших. Если они и не говорили этого, то улыбались, слушали именно так. А уж слушали, глядя прямо нам в рот, вроде мы говорили страшные важные вещи, которые они могут услышать лишь от нас, сейчас и уж в последний раз. Хотя ничего такого особенного мы не говорили, а шел обычный разговор, который можно услышать в любом ожидании. Наши советские товарищи из посольства были, очевидно, знакомы со всеми эмигрантами ранее, и все мы вместе болтали, смеялись, шутили, слушали. Не скрою — мне это было по душе.

Широкие стеклянные двери фойе выходили на широкий тротуар улицы и были гостеприимно раздвинуты. В них входили, выходили, а многие стояли возле, снаружи и внутри. Былолюдно. Улица жила своей уютной, шумной, но ленивой жизнью ночного кафе. Всюду за стеклянными дверьми и витринами и просто за оконными стеклами сидел, стоял, пил, ел, жестикулировал, просто глазел, курил и громко, обязательно громко, говорил чилиец, обнимая свою не менее громкоголосую подругу. Пестрота одетий, нескончаемые разнозвонные сигналы машин, на которые, впрочем, на этой узкой улочке не очень обращали внимание, шоколад загара лиц, мелькание, мигание и бег электрической рекламы, теплый воздух летней улицы, пропитанный перегаром бензина с дразнящим запахом специй, приправ и жареного мяса, — все это и многое другое составляло живую сочную мозаику вечернего душного города с пронзительным неприятным криком продавца газет на углу пересечения улочки с улицей.

Вдруг как-то все насторожилось, примолкло, и стало тесно, даже здесь, в фойе, где стояла особняком почти у самого входа в зрительный зал наша маленькая группка. Она казалась изолированной непонятно откуда взявшимся людям. Такое впечатление, что он проступил из стен, вырос из-под пола, и это не были люди из охраны президента, впрочем, были и такие, они угадывались по быстрым и щупким взглядам. В основном же в нахлынувшем потоке были люди из дипломатических кругов Чили. Их всегда легко определить по вечерним платьям, костюмам, по покою, с каким они умеют держать себя, и по их лицам и прическам, я не только всегда

бритым, уложенным, свежим, холерным, но и несущим такую дипломатическую статью, даже здесь, на этом добром рауте. Позже переводчица объяснила столь внезапное появление их в фойе: оказывается, кинотеатр своими входными и выходными дверями связывал чуть ли не три улицы, и весь этот народ стоял на тротуарах у кинотеатра, дожидаясь приезда президента.

Президент Чили Сальвадор Альенде шел из глубины улицы от машины, улыбаясь, и время от времени отвечал на приветствия простым домашним поднятием руки, как бы говоря: ну, как славно, что и вы пришли. Перед ним тут же образовывался, вырастал и протягивался, откатываясь в гущу ожидающего его народа, живой коридор из устремленных добрых взглядов, улыбок, протянутых рук.

Я не каждый день встречаю президентов, и поэтому, когда стоявшие передо мной расступились, оголив мою несколько потерянную фигуру в свежоотужоженном летнем смокинге, я начал было тоже пятиться, но, стукнувшись спиной о стену, остановился — следует отметить, очевидно: стена стене рознь, здесь была хорошая, умная стена — как важно вовремя получить тумак! — и, ощутив его, я быстро обрел себя и уже достойно стоял, ожидая его приближения. Он подошел, скользнул по мне взглядом, как, впрочем, и по стоявшим рядом со мною, и... бодро развернувшись, как бы желая проделать весь этот путь обратно к машине, пошел. Даже в этом коротком проходе его чувствовалось, что человек этот давно привык к подобному изъятию симпатий к нему, ощущалась уверенность, сила. Он уходил. Переводчица ринулась за ним, схватив его за локоть, громко крича при этом: «Сальвадор, Сальвадор, он здесь, вот он!»

Президент Чили Сальвадор Альенде не выразил неудовольствия, не отбросил ее руки, а повернувшись, посмотрел туда, куда она показывала. Приветливо улыбаясь, он шагнул ко мне, а немного быстрее, чем это позволяли вечерний костюм и протокол, бросился к нему, схватив обеими руками его огромную протянутую руку (но хорошо помню, что не тряс, просто спокойно держал). Простота общения, его манера смотреть не предполагали повышенных степеней излияния радости или уважения. Нужно было только по возможности быть самим собой, что я и старался делать. Он, среднего роста, приветливо и изучающе снизу, я со своей длины, но, разумеется, не свысока, радостно взирали друг на друга. Я чувствовал, что нужно было что-то сказать, но удобно ли первому? И тем не менее робко начал:

— Я очень рад, господин президент...

— Как ваши глаза?.. — не дав договорить мне, спокойно глядя на меня, спросил он.

— ?!

— Здоровы ли ваши глаза? Вылечили ли вы их?

— ?!...